

НЕТЛѢННОЕ.

Разсказъ.

— Если ты сердита, — говорила кухарка Маша, молодая, веселушата, рыхлая особа съ бѣгающими глазами, — ноги у тебя болятъ...—лицо ея освѣтилось подавленной улыбкой,—то что-жь ты, говори!

— Такъ и скажу сегодня,—отодвинувши чашку съ чаемъ, возразила горничная Поля, высокая дѣвушка въ свободной кофточкѣ, черезъ мягкую ткань которой обрисовывались неестественно широкіе бока.

Поля вошла въ столовую, гдѣ сидѣла на креслѣ у окна барыня Анна Сергѣевна Барышникова и съ удовольствіемъ читала газету.

— Барыня!—окликнула Поля.

Анна Сергѣевна сдвинула очки на большой лобъ съ гладко зачесанными сѣдѣющими волосами и непонимающими, далекими глазами взглянула на дѣвушку.

— Въ чемъ дѣло?

— Ищите себѣ другую... я завтра уйду.

Анна Сергѣевна даже покраснѣла отъ неприятной неожиданности.

— Но почему же, Поля? Что случилось?

Поля молчала, опутивъ глаза и тяжело дыша. Она ждала, когда кончится эта мука, не первая въ ея жизни за послѣднее время.

— Кто-нибудь васъ обидѣлъ? Вышли какія-нибудь неприятности? Кажется, я всегда стараюсь, чтобы моею прислугѣ жилось хорошо... Кажется, я всегда пускаю васъ со двора, какъ только попроситесь... комната у васъ отдѣльная... за пищей слѣжу сама... Я думаю, можете вы мнѣ сказать, по крайней мѣрѣ, почему вы уходите...

— Никто меня не обидѣлъ... я очень вамъ довольна... я всѣмъ очень довольна... — бормотала Поля, почти ненавидя барыню за

испытываемыя страдаія. Но только я никакъ не могу... Ноги у меня очень болятъ...

— Ноги болятъ?! Но вѣдь вы живете у доктора?! Отчего вы не обратитесь къ Николаю Ивановичу? Почему?... Давно бы...

Поля молчала, стиснувъ зубы.

— Сказала! — со злобой объявила Поля, входя въ кухню. Голосъ ея дрожалъ и на выдавшихся отъ худобы скулахъ играли два красныхъ пятна.—Ноги не болятъ... Небось, заболать, по вашимъ лѣстницамъ бѣгая, взадъ-впередъ, взадъ-впередъ... какъ духъ какой печистый, Господи прости!

Черезъ недѣлю послѣ того какъ ушла Поля, утромъ Анна Сергѣевна, какъ всегда, выдавъ провизію, собиралась выйти изъ кухни. Кухарка Маша вдругъ растянула губы въ хитрую, приторную улыбку и произнесла приторнымъ, медовымъ голосомъ:

— Проздравлять нужно Пелагею Антиповну... горничную-то нашу бывшую,—пояснила она, видя, что барыня не понимаетъ.

— А что такое?—брезгливо сморщась, неохотно спросила Анна Сергѣевна.

— Да какъ же! Ребеночка имъ Богъ далъ! Вчера къ вечеру...

— Откуда вы все знаете?

— Да какъ этого не знать? Въ своемъ городѣ, да не знать? Или вы, барыня, не замѣчали?

Маша хихикнула надъ наивностью пожилой барыни.

— Неужъ не примѣтили, барыня? Она послѣднее время все широкія кофты носила. Вѣдь она оттого и отъ Токиныхъ ушла... Выгнали. Тамъ строго... Ихній же приказчикъ, Санька. А ужъ, говорятъ, нѣтъ ничѣмъ ничего: ни пеленочки, ни простыночки, ни повить, ни подложить, ни переменить... Скрываютъ! А, все равно, всѣмъ извѣстно. Одно только, что въ харю никто сказать не смѣетъ. А въ дому-то что дѣлается! Мачеха...

Анна Сергѣевна не дослушала и вышла изъ кухни. Она была глубоко обижена. Столько недовѣрія! И къ кому же? Къ ней, которая всегда и помогла бы, и тайну сохранила бы... Сдѣлала бы что-нибудь для ребенка... Покойнаго своего Сереженьки отдала бы вещи... Все равно, у нея дѣтей ужъ не будетъ больше. Ну, не не хотѣла... Оказалась, какъ и большинство, неблагодарной... И нечего больше о ней думать...

Въ отчаянной, послѣдней, полусмертельной потугѣ кончилась звѣриная, непереносимая мука. Поля вздрогнула всей грудью,

еще не отдавая себѣ отчета въ томъ, что случилось, вся липкая отъ горячей крови. Сознаніе ея быстро прояснялось. И первымъ коснулся ея слуха какой-то странный, похожіи на хрюканье и крикъ, звукъ. Казалось, звукъ этотъ былъ такъ силенъ, что заполнялъ собой не только хлѣвушокъ, гдѣ на соломѣ, застланной старой ватолой, металась почти сутки, кусая руки и царапая грудь, обезумѣвшая отъ боли дѣвушка, но и весь міръ, до воротъ, до домовъ злыхъ и насмѣшливыхъ сосѣдей, до базара... Полубезсознательнымъ движеніемъ Поля приподнялась и набросила юбку на что-то маленькое, круглое, кроваво-скользкое, что лежало у ея ногъ.

— Нечего теперь-то! — сдержанно промолвила мачеха, вѣрно понявшая побужденіе падчерицы.—Теперь ужъ не заглушишь... Раньше нужно было думать, этими дѣлами не заниматься... Да подожди вскакивать, шутоломная... Не совсѣмъ вѣдь тебя Богъ простилъ.

Еще одно мгновеніе... И радость отстрадавшаго тѣла, радость освобожденія охватила Полю. Ахъ, только бы заснуть теперь, блаженно-крѣпко заснуть, забыть то, что ужасомъ и вѣчнымъ, облѣпляющимъ, какъ паутина, страхомъ окутывало ея душу цѣлыхъ девять мѣсяцевъ...

Рано утромъ, проспавъ почти двѣнадцать часовъ, Поля проснулась на печкѣ отъ того же ужаснаго хрюкающаго крика, который такъ испугалъ ее наканунѣ. Около нея стояла мачеха и жесткимъ пальцемъ стучала ее въ плечо.

— Вставай, что ли... будетъ! Ночью-то я тебя пожалѣла: молякомъ напоила. Тамъ еще вскипяченное осталось. Да соску нажуй: дай. Къ груди, смотри, не прикладывай. Да вставай же!—шипѣла старуха уже злобно.—Хочешь, чтобы весь курмышъ оповѣстился? И такъ ужъ черезъ тебя всѣ окошки скрыты. Сидимъ, какъ заключенныя...

Поля неумѣло взялась за маленькій круглый комочекъ тряпокъ, мокрый, противно визжащій. Еще ни разу не видѣла она своего сына, не хотѣла смотрѣть и теперь. Но не вытерпѣла и посмотрѣла. Какъ хмельное вино, ударило въ голову все, что минуло безвозвратно: ночи любви и быстро минувшаго, краденаго счастья, кудрявый, черноглазый приказчикъ Фокиныхъ, Санька, мѣсяцы стыда, мѣсяцы пригнетающаго къ землѣ сознанія, что все кончено; ушли навсегда свобода, радость, равенство съ людьми... И что-то въ черныхъ, мягкихъ, какъ шелкъ, тонко курчавящихся волосикахъ ребенка и въ его уже намѣченныхъ

бровяхъ показалось Полѣ такимъ знакомымъ, такимъ переносимо-горькимъ... Она захлебнулась и заплакала навзрыдъ.

— Это еще цвѣтики. Ягодки-то впереди!—проворчала мачеха какъ будто удовлетворенно...

Въ семьѣ Гайкиныхъ начался адъ. Шопотомъ, чтобы не услышали сосѣди, съ утра и до ночи тамъ попрекали другъ друга, выворачивали наизнанку всю прошлую жизнь, вспоминали всякую малость и расходились неуспокоенные, несытые, съ горящими злобой глазами, съ пламенемъ неостывшей мести въ сердцѣ...

— Безстыжая ужъ на всякомъ мѣстѣ безстыжая будетъ!—язвила мачеха.—Маленькая была—сраму надѣлала: у Егорюшкиныхъ пышку съ окна стащила. Сколько лѣтъ по людямъ шляешься, ничего, окромѣ брюха, не нажила! Мое бы знатѣе, что выйдешь распутная, мнѣ бы замужъ не идти.

— А ты бы не шла! Меня папаня срядилъ бы. Я бы теперь своимъ домомъ жила!... не какая-нибудь была! Почему я у васъ не сряжена? Почему?—истерически задыхаясь, выкрикивала Поля.

— Своимъ домомъ... О-о-о, расходилась! Я— не я! Ходила я къ твоей свекровушкѣ, ходила! „Кака-така Поля, говорить, мы и не знаемъ!“ Я говорю: „Вы дѣвушку осрамили, будете, что ли, брать?“ А она: „Мы и не знаемъ никакой Поли“... вотъ что! Онъ тебя нипочемъ не возьметъ!

— Нѣтъ, онъ возьметъ! Ему сестру замужъ отдавать! Когда бы не сестра, мы бы давно вѣнчались!

— Возьм-е-етъ! Сама знаешь, что врешь!...

Приходилъ старшій братъ Поли, Лукьянъ. Неизвѣстно почему, но выходило такъ: разъ Поля родила незаконнаго сына, то отцовскій домъ долженъ быть немедленно „подписанъ“ подъ него, Лукьяна...

Сдержаннѣй всѣхъ былъ отецъ Поли, Антипъ Ильичъ, плотникъ. Дряхлѣ онъ становился. Топоръ плохо держался въ его рукахъ. Начинать онъ уже слѣивуть. Минутами, однако, старшій плотникъ тоже выходилъ изъ себя и грозно кричалъ:

— Вонъ! Всѣ вонъ съ моего пазьма, съ моего дома! Одинъ я тутъ хозяинъ! Другія-то дѣти родителей кормятъ, а вы что? Вонъ, чтобы и духу вашего поганнаго не было!

И тогда мачеха всѣхъ успокаивала:

— Тишьте, тишьте!... И такъ, чай, по ставнямъ налипли, слѣдять!

— Все равно, ужъ вездѣ слухъ палъ!—кричалъ Ильичъ, не могшій сразу подавить своего волненія.

— Паль, да никто своими глазами не видалъ, ушами не слыхаль...

Даже во снѣ, какъ это было раньше до рожденія мальчика, Поля не могла почувствовать себя счастливой, беззаботной, желанной. Какъ огромный камень надъ головой, какъ присосавшаяся къ груди змѣя, ощущалась ею мысль объ окрещенномъ тайкомъ сынѣ Александрѣ... И когда, похудѣвшая, потная отъ слабости и волненія, съ неестественно большими глазами, она выкрикивала свои жалобы, то чувствовала, что, дѣйствительно, все кончено: ей нанесена непростимая обида. Ее погубили безжалостно, безсердечно, навсегда! Ее сдѣлали женщиной насильно, не давъ ей взаимѣнъ ничего.

Жарко, душно на печкѣ. Чистенькой, привыкшей франтить Поля противно ея тѣло, ея нагрубшія, какъ камень, груди, которыя словно и со спины, и съ боковъ стягиваютъ къ себѣ всѣ жилы... Вся она и пахнуть-то стала какъ-то кисло, по-бабьи, отвратительно. А „этотъ“, на котораго она не глядитъ, чужую огромную опасность, этотъ кричитъ, кричитъ, пронзительно, безконечно... И такъ ужасно хочется спать, забыться хоть на минутку... Одна, никому не нужная... Что дѣлать, что дѣлать! Чадно въ комнаткѣ отъ привернутой лампочки, какой-то зеленый туманъ ходитъ кругомъ, и сонъ разнимаетъ такъ властно, что противъ него нѣтъ силъ бороться. Все болитъ, все ноетъ... Болятъ животъ и ноги, рветъ груди, ломятъ сныяки отъ побоевъ... Какъ они ее били, когда узнали... И отецъ, и старшій братъ, и младшій... А вотъ не родила мертвого, а какъ бы хорошо... А этотъ все кричитъ, кричитъ, надсаживается... Ужъ никакихъ силъ съ нимъ нѣтъ! И трясла она его, и похлопывала, и укачивала—не помогаетъ!

Барыня Анна Сергѣевна дала ей какъ-то лѣкарство „для успокоенія“. Не велѣла только много его пить. Не больше столовой ложки заразъ... Если дать „ему“ ложечку,—успокоится, заснетъ. А утромъ она поглядитъ, а онъ уже и мертвый... Похоронять тихонько. Баринъ Барышниковъ свидѣтельство дать, что онъ былъ рожденъ слабымъ... Вымыться, какъ слѣдуетъ, надѣть все чистое, выздоровѣть, уйти опять въ люди, въ большія, свѣтлыя комнаты, жить... Вѣдь никто не смѣетъ ей ничего сказать прямо въ лицо. Мачеха правду говоритъ. Не будетъ его, ненавистнаго, все равно, не будетъ... Мамаша сказала, что какъ только узнаетъ, куда можно подкинуть, такъ и подкинуть его... Ну, а если умереть, пожалуй, что и лучше... Прибралъ бы Господь! По крайней мѣрѣ, не

думалось бы... А то думать начнешь, жалѣть... Умерь бы — развязка полная... А этотъ крикъ, все время этотъ крикъ...

Поля, шатаясь, достала лѣкарство, сдобрила его сахаромъ, налили въ соску, дала „этому“... Онъ зачмокалъ, успокоился, и все кругомъ провалилось въ блаженномъ, поглощающемъ мракѣ...

Поля проснулась нескоро. Кругомъ было тихо. Она потянулась, полежала еще, медленно приходя въ себя. Вдругъ ее словно обожгли страхъ и любопытство вмѣстѣ. Она кинулась къ ребенку. Тотъ лежалъ спокойно, не слышно было, какъ онъ дышалъ. Лицо его уже начало бѣлѣть и рѣзче обозначились черныя брови. „А если онъ мертвый? Вотъ бы развязка!“

Неожиданно ребенокъ раскрылъ глаза, большіе, черные глаза съ синей, младенческой поволокой, и какъ будто сознательно остановилъ ихъ на матери. Полтъ показалось, что вся ея кровь прихлынула къ сердцу, и какія-то горячія, дающія и наслажденіе, и боль иголки колютъ ея щеки и грудь... Слава Тебѣ, Господи, что Шурочка живъ! Не отдавая себѣ отчета въ томъ, что дѣлаетъ, она развернула мокраго ребенка, подложила подъ него сухую пеленку и взглянула внизъ. Мачехи не было въ комнатѣ. Крадучись, Поля схватила крошечную ручку, прижала ее къ губамъ, торопливо оглянулась еще разъ, быстро счиркнула молоко изъ груди, какъ дѣлаютъ это—она видѣла—женщины, и приложила къ себѣ ребенка. Какое счастье: онъ схватилъ и сосеть...

„Шурочка, Шурочка, маленькій ты дурачокъ, не плачь! Всегда буду тебя кормить! Всю ночь буду тебя кормить! Ничего, что мнѣ больно“...

А вечеромъ вновь та же удушливая ссора, та же ночь съ зеленымъ туманомъ и одолѣвающимъ, какъ хмель, сномъ... Но теперь было спокойнѣе. Шурка сосалъ грудь. У него съ матерью была важная, веселая тайна.

На шестой день мачеха сказала:

— Ну, что-жъ, долго будемъ валандаться? Итти нады! Пора!

— Куда, мамаша?

— Подкинуть нады! Или забыла?

— Да куда же—я не знаю. Кто возьметъ?

Ефремовна выдержала паузу и презрительно промолвила:

— Находить знала? Торговкѣ Федорихъ надо подкинуть. Она говорила, что, если мальчика принесутъ, возьметъ. Да ты, можеть, воспитывать его хочешь? Капиталы нажила?

— Будеть, мамаша,—сдержанно возразила Поля.—Не разъ объ этомъ говорено и не два...

Будто бы темная и глухая, а на самомъ дѣлѣ сторожкая и чуткая, полная звуковъ и страховъ ночь... Какъ во снѣ шла Поля, замирая отъ ужаса при видѣ заблудшей собаки, холодѣя, когда долеталъ до нея звукъ далекой трещетки ночного сторожа.

Мачеха ждала ее на углу. Шла ли Поля въ гору, или нѣтъ?

Положила ли на высокое крылечко ребенка, дернула ли изъ всей силы за звонокъ и пустилась ли бѣжать внизъ, какъ сумасшедшая? Поля и сама не знала, было это или не было...

Первые дни она ничего не ощущала, какъ не ощущаютъ сильно ушибленнаго мѣста. Цѣлыми днями она убирала въ домѣ, стирала бѣлье, парила и мыла кадучки. За ней нѣсколько разъ приходили нанимать ее въ горничныя, и она обѣщалась ирйти черезъ пять дней въ домъ богатыхъ купцовъ, Котлецовыхъ, на хорошее жалованье.

Но чѣмъ дальше шло время, чѣмъ больше Поля „отходила“, тѣмъ безпокойнѣе она становилась. Тоска, щемившая ея сердце послѣ того, какъ она отнесла сына, въ первое время лишь изрѣдка, все возрастала, разливалась, наполняла всю ея душу. „Одинъ бы только разочекъ поглядѣть мнѣ на него какъ слѣдуетъ... Не разсмотрѣла его... не успѣла“, томилась Поля. „Ни ушекъ не разсмотрѣла, ни пяточекъ, ни волосиковъ... Не знаю, есть примѣточки, не знаю, нѣтъ примѣточковъ... На губки-то какъ слѣдуетъ не взглянула“...

Опять болѣли похожія на горячіе камни груди. Все тѣло тянуло и карежило...

Быль кануць Вознесенья. Поля домывала полъ. Въ окно смотрѣла еще свѣжая, незапыленная зелень кленовъ и бузины; вечернее алое небо накрыло тепломъ и умиравшимъ свѣтомъ силуэты далекихъ мельницъ и ярко-зеленныя горы; въ церквахъ звонили протяжно и зовуще. Ефремевна собиралась ко всенощной. И вдругъ лицо Поли исказилось злобой. Она швырнула тряпку, выпрямилась и кривящимся губами прошипѣла, совершенно какъ мачеха:

— Въ церковь идуть... Бога тоже помнѣть... А дитя... бросили, какъ собачонку...

— Ты мнѣ, что ли, милая?—пропѣла Ефремевна.—Да ужъ это вѣрно. Только мы, старухи, маленько еще Бога помнимъ. А молодежь—только и слышишь: та ребенка заморила, эта придушила, эта свиньямъ, будто нечаянно, скормила. Замужнія-то—и тѣ на всякія штуки подымаются... А своего-то Шурку ты сама отнесла,

Такъ-то. Это ужъ дѣло конченное... Я вѣдь вижу. Ты, то на огородѣ, то въ хлѣвушкѣ, все груди счиркиваешь. Зря не слушаешься. Потомъ спокаешься... Кончено это и припечатано...

Мачеха ушла. Поля торопливо домыла полъ, одѣлась, какъ для выхода, посидѣла, сняла косынку, опять надѣла... наконецъ, рѣшительно вышла.

Опять, какъ во снѣ, шла она къ дому Федорихи. Легонько постучалась въ окошко и съ дѣвичьимъ, ласковымъ смѣхомъ сказала выглянувшей торговкѣ:

— Тетенька, я войду?

Федориха, толстая старуха съ непомѣрно большимъ животомъ, сидѣла, разставивъ ноги, на лавкѣ и щипала куръ. Мелкія перья разлетѣлись по всей комнатѣ и прилипли къ потному, морщинистому, мѣдно-красному лицу торговки.

— Войди, войди, дѣвушка!—прохрипѣла Федориха.—Садись-ка. Помоги мнѣ птицу обдѣлывать. Ужъ очень жестоко щиплется. И скажи: кормила, какъ слѣдовать...

— Я вотъ къ вамъ зачѣмъ, тетенька,—защебетала безопасно и весело Поля.—Я куръ пощиплю... безусловно. А я вотъ зачѣмъ. Приемыша вашего посмотрѣть. Гдѣ онъ у васъ? Я посмотрю, а потомъ пощиплю, безусловно. Зыбочка-то у васъ гдѣ?

— Нѣту, милая. Нѣту ни зыбочки, ни приемыша. Въ губернію его отвезли, въ Саратовъ, въ воспитательный...

Поля побѣлѣла, безпомощно раскрыла ротъ и задышала часто-часто...

— А вѣдь вы... говорили... взяли его?...

— Взяла-то, взяла,—хрипѣла Федориха, какъ будто не замѣчая волненія дѣвушки,—да племянница у меня уѣхала. Мнѣ никакъ и невозможно... Я, было, ее и не хотѣла пускать, да ничего не подѣлаешь... Не мать. Тамъ-то, въ Хвалынѣ, постарше меня...

— Значить... онъ теперь... пропалъ?

— Зачѣмъ пропалъ? Записка есть. Могу всегда взять обратно, за содержаніе только придется тамъ сколько-то. Плохонькій онъ: цвѣтетъ въ ротикѣ, что ли. Соску не беретъ. А животикомъ мается—прямо смыло всего. Мнѣ-былъ и желательно...

Поля ступила шагъ, другой, и уже нисколько не похожа была на тоненькую, щебечущую дѣвушку. Все женское горе, вся тяжесть и мученія материнства отразились въ ея большихъ, расширившихся глазахъ, въ страдальческомъ изломѣ кривящихся, дрожащихъ губъ.

— Тетенька... милая... дай мнѣ эту записку!...

— Вотъ-те на! Для чего я ее тебѣ буду давать?

Поля сѣла на лавку и крѣпко сцѣпила пальцы рукъ.

— Да вѣдь мой онъ!—сказала она съ непередаваемымъ выраженіемъ.—Я его родила! Возьму домой... Смѣло всего, говоришь? Хвораеть? Сейчасъ же вечеромъ съ поѣздомъ уѣду... Мой дитенокъ. Возьму къ папанѣ...

— Вонъ чего! Вонъ чего! Вишь ты, дѣло какое!—хрипѣла Федориха, съ трудомъ поднимаясь съ мѣста.—Ну, будетъ тебѣ! Постои на часикъ, не реви! Вотъ достану изъ сундука... Батюшки, засидѣлась и не разомнись... На! Вонъ чего! Вонъ чего!

Мачеха не застала Полю дома. Сундукъ ея былъ едва припертъ, ключъ отъ дома она отдала сосѣдкѣ. На утро послѣ базара старуха отправилась къ Федорихѣ и тамъ узнала обо всемъ случившемся.

— Зря она туда мыкнулась... Только людей наслушить,—говорила Федориха.—Я, пускай, не скажу... Да развѣ отъ людей утаишь?

Поля вернулась черезъ день до того похудѣвшая, до того измученная, что ее трудно было узнать. Она вошла въ комнату, поклонилась иконамъ, отцу, мачехѣ и сѣла, не раздѣваясь, въ конецъ обезсиленная...

— Ну што? Померъ, што ли? Надо было ѣхать — срамить все семейство!

— Живъ... а не отдали миѣ его...—начала Поля надорваннымъ голосомъ, удерживая слезы и какъ будто сознательно сберегая силы.—Никакихъ нѣтъ, говорятъ, твоихъ доказательствъ, что ты его мать, а включала его не ты... Привези, говорятъ, полицейское удостовѣреніе. Мамаша!

Поля встала и, какъ была въ жакеткѣ и хорошей черной кружевной косынкѣ, поклонилась Ефремовнѣ въ ноги.—Мамаша! Пойдемте къ барынѣ, къ Аннѣ Сергѣевнѣ. Она барина попроситъ, онъ дастъ подписку, что ребенокъ мой; я у нихъ чуть не до послѣднихъ дней жила. Онъ съ полицмейстеромъ поговоритъ. Отъ полицмейстера удостовѣреніе... Мамаша!

Никогда голосъ Поли не звучалъ такой мольбой, никогда слово „мамаша“ не несло съ собой въ ея губахъ столько тепла и ласки... Сердце Ефремовны, никогда не имѣвшей родныхъ дѣтей, дрогнуло. Вотъ-вотъ должно что-то въ немъ, въ этомъ старомъ сердцѣ, раскрыться, съ воплемъ должно вырваться оттуда что-то рѣшительное, отчаянное, какое-то давно жданное освобожденіе, несущее съ собою и боль, и радость... Но долгіе годы подчиненія опредѣленнымъ формамъ, безпощадные уроки жизни удержали старуху. Пусть лучше будетъ все по-старому, по-обычному, такъ,

какъ дѣлали люди до нея. Такъ спокойнѣе, такъ никто не осудить, не вмѣнить въ вину.

— Нѣтъ, ужъ я въ эти дѣла не мѣшаюсь,—произнесла она, помолчавъ и видимо стараясь справиться съ собой. Голосъ ея дрожалъ.

— Мамаша...—Поля заплакала. Рыданія ея становились все сильнѣй и сильнѣй, звучали все безпомощнѣй... А у Ефремовни становилось на сердце все холоднѣй, все увѣреннѣй...

— Сама, милая, находила, сама теперь и справляйся. Нашли—меня не спрашивали?

— Чай, Бога-то помнишь нужно...—съ раздраженіемъ промолвила сквозь рыданія Поля.

— О-о, Бога-то?—протянула Ефремовна насмѣшливо.—Ты Его лучше ужъ не поминай. Ты что Его не помнила, когда съ Санькой гуляла? Это Богъ велить? А что не помнила, какъ подкидывала? Да и гдѣ нынѣ Богъ-то? Въ комъ? Онъ, Батюшка, отъ васъ, молодыхъ, и не знаю, куда ушелъ. Дьявола только тѣшите. Ты что же распоряжаешься такъ-то? Хоть бы отца спросила!

Ни одна изъ женщинъ не обратила вниманія на то, что въ крохотной спальнѣ, гдѣ умѣщались только кровать да этажерка, возился съ чѣмъ-то старый Антипъ. При послѣднихъ словахъ онъ вышелъ изъ комнаты, одѣтый въ пиджакъ, съ расчесанными бородой и волосами, полный неожиданнаго значенія и силы.

Объ женщины замолчали, и старикъ сказалъ тихо, но ясно:

— А какъ, Пелагея, на улицу выходить будешь?

— Такъ и буду, папаня... Все, чай, лучше, чѣмъ такъ маяться...

— Ну, тогда, дочка, пойдемъ!—произнесъ старикъ скорбно-торжественно.—Я съ тобой иду! Иду!—подтвердилъ онъ съ силой, отвѣчая на обрадованный, вопрошающій взглядъ дочери.—Какъ ты говоришь... и есть ты мое рожденіе... Я самъ тебѣ веду!

Онъ не прибавилъ ни слова. Ефремовна взглянула на мужа, на падчерицу и промолчала. И только въ сѣняхъ доходящихъ донеслось ея бормотанье:

— Мнѣ что-жъ! Это ваше дѣло, семейское... На меня бы потомъ не вышло поклепу...

Анны Сергѣевны не оказалось дома. Поля не захотѣла дожидаться ее въ кухнѣ, несмотря на лукавую любезность курносой Маши, и вышла на улицу.

— Нѣтъ ея, папанюшка!—сообщила она отцу упавшимъ, обезсиленнымъ голосомъ.

— Подождемъ,—покорно отвѣтилъ старикъ.

Отецъ и дочь сѣли на край кирпичнаго тротуара. Шелестѣла отъ порывовъ вѣтра огромная ракета напротивъ, у бассейна. Слышались оттуда звяканье ведра, ровное журчаніе бѣгущей водяной струи. Изъ городского сада доносились обрывки музыки, и казалось, въ особенности, когда она играла громко, будто бы она раздается со всѣхъ сторонъ. Со стороны Севастопольской улицы, ведущей на бульваръ, доносились, словно внезапно вспыхивая, голоса прохожихъ, и такъ же внезапно гасли они за угломъ. И наступала тишина. Только лепетала ракета да звучно капала вода изъ крана бассейна.

Шли томительныя, безконечныя секунды, сливались въ минуты, въ часы... Нестерпимо болѣло все тѣло у Поли. И казалось ей: только бы взять на руки Шурочку, только бы приложить его къ груди—и всякая боль, всякое страданіе кончится. Никогда такъ страстно не хотѣлось ей обнять милаго, какъ страстно хотѣлось теперь схватить и прижать къ себѣ крѣпко-крѣпко маленькое, безпомощное тѣльце.

— Господи, долго-то какъ! долго-то какъ!—томилаь и изнемогала она въ тоскѣ.

Анна Сергѣевна возвращалась домой одна. Вдругъ почти около ея дома изъ мрака улицы вынырнула высокая, тонкая женщина. Рыданія душили ее. Она не могла выговорить ни слова и то припадала къ колѣнямъ Анны Сергѣевны, то вскакивала и ломала себѣ руки въ припадкѣ несдерживаемаго отчаянія. Сзади нея, какъ привидѣніе, стоялъ неподвижно старикъ съ длинной, сѣдой бородой.

— Кто это такой? Что это такое?—проговорила испуганная и потрясенная Анна Сергѣевна.—Поля? Вы? Что такое?

— Барыня, милая барыня, простите меня! Мальчика моего, Шуру, сыночка, не дають мнѣ... Они вѣдь... въ воспитательный его отвезли... Развѣ я этого хотѣла? Барыня, милая, спасите вы меня! Я все придумала: у Котлецовыхъ кухарка добрая, покормлю тихонько, дѣвчонку найму носить. Мамаша не захочетъ, къ тетенькѣ Дарьѣ отнесу, а ужъ такъ не оставляю... Только бы найти мнѣ его. Найти бы мнѣ его! Тамъ его не знай чѣмъ кормятъ. Развѣ будетъ живой! А я вѣдь молоко счиркивала. Сама знаю— не увижу Шурочку моего никогда, а сама зайду въ бурьянъ—счиркиваю... Барыня вы моя родимая! Спасите вы меня отъ лютой казни!...

О. Рунва.